

Мы шли с Толиком по Сретенке. Сретенка—это русский Монмартр. Во всяком случае, тогда, в восьмидесятые годы двадцатого века. Сейчас—не знаю. Толик даже напишет:

Пусть Булат картавит
песенки Арбата—
я люблю кварталы
русского Монмартра.

Когда я озвучу эту строфу Петру Вегину, популярному в те годы и, само собой, хорошо знавшему Окуджаву «младшему поэту-шестидесятнику», он резонно уточнит:

— Булат не картавит...

Так. Но всё равно в воркующем исполнении Шалвовича есть некая сглаженность.

Думаю, Толик подразумевал нечто другое—полярное Сретенке. Арбат—как по тем, так и по нынешним временам—элитное место столицы, населенное по преимуществу людьми успешными. А Сретенка—париями, если не отщепенцами от искусства, которых от слова «успех» вытошнило бы.

— Опять Сретенка?..—переспросил меня Вегин, когда я решил привести его к Толику.

Входная дверь в жилище напоминала громоздкий, чёрного дерева, бабушкин шкаф, чья скрипучесть отворялась только по условному стуку...

Непризнанные художники и поэты, как правило, прибывавшие из провинции и уходившие в дворники, сторожа и котельщики главным образом из-за возможности иметь ведомственное жильё и свободное время для творчества, были в ту пору постояльцами Сретенки.

Признаться, такой концентрации творцов в пределах одной улицы и нескольких вытекающих из неё переулков я более не встречал! Разве что в специализированном писательском Переделкине. Посему вполне закономерно, что на Сретенке могли случаться чудеса.

Дипломат на крючке

Итак, мы идём и рассуждаем. Разумеется, о высоких материях. Здесь замечу, что главные действующие лица култышевских творений—Бог, художник, идеал, совершенство и вечность и, соответственно, их антиподы. Ещё мужчина и женщина.

Правда и ложь. (Всё прочее—на отшибе, недостоин даже упоминания.)

Я захожу в телефонную будку. Перед тем как опустить в автомат заветную двушку и начать крутить диск, вешаю дипломат на придуманный для таких целей внутрибудочный крючок. (Сколько же нагулявших жирок портфелей и зубастых дипломатов на эти крючки попало!..)

Затем, продолжая прерванную беседу, мы вновь движемся всё той же Сретенкой. И вдруг, минут через пятнадцать (привет Альцгеймеру!), я ощущаю предательскую лёгкость в правой руке. Дипломата-то нет! Разворачиваемся и уже молча—быстрыми и тревожными шагами—к телефонной будке. Но крючок пуст... Эх, уплыла рыбка!

Не буду описывать турбулентность, зародившуюся в недрах моего организма. Лихорадочно начинаю прикидывать, что же было в дипломате. Электробритва «Харьков». Ладно. В конце концов, Толик поделится своим станком. Рукопись стихотворений. Могу восстановить по памяти. Тогда ещё мог. Паспорт!.. А вот его придётся восстанавливать в милиции.

Бредём опустошённо и рассеянно. Навстречу—знакомый нам, живущий на Сретенке художник Володя Парошин.

— Поэты! Куда путь держим?

— Кто бы подсказал—куда...

— Айда ко мне в мастерскую—есть чем горло промочить...

Заглянули. И я обомлел.

Мой дипломат красовался у Володи на письменном столе!..

А вот что поведал сам художник:

— Зашёл я позвонить в соседнюю будку. Гляжу: рядом чей-то дипломат на крючке. А из другой будки на него мужик пялится. Я решил действовать на опережение: если не я, то мужик. Я взял дипломат, вышел из будки, поставил его на асфальт между ног и закурил: мало ли, может, хозяин объявится? Но хозяин не объявлялся. Тогда я прямиком в мастерскую. Вот привалило! Сейчас из дипломата купюры посыплются. Доллары!..

Однако первое, что выскользнуло из дипломата,—отпечатанное на машинке стихотворение. Художник напрягся: опять поэты?.. А когда

открыл паспорт со знакомой ему физиономией, разочаровался окончательно и бесповоротно...

С улицы на улицу

Вот такая волшебная Сретенка. Толик был засунут, точно сданная в гардероб шапка, в один из её рукавов. Сперва— в Колокольников, а после— в Печатников переулок. Хотя по иронии судьбы не печатался. Вернее, так: предпочёл не печататься. Как-то прислал мне в Чусовой письмецо: «Теперь— о литобъединениях: был два раза. Больше не пойду никогда. Я певец улицы, то есть— свободный. А там меня сделают ручным и никому не интересным».

Я теперь, как лорд, по клубам разъезжаю.
В клуб «Поэзия» качу, как станет скучно,
там весёлые ребята, мат и ржанье
(видно, тоже будут загнаны в конюшню).

Толик возвращался на Сретенку. И, аки цыган, уводил за собой породистых жеребят: Цветаеву, Клюева, Фадеева... Мы же— о сретенских чудесах? Не сомневаюсь, что материализовавшиеся обладатели этих племенных фамилий были продолжением тех самых чудес.

Да, Култышева изначально сопровождали классики. Позднее я познакомился с ними на той же Сретенке. Клюев потом женился на Цветаевой. А Фадеев, надеюсь, при этом не застрелился. А как познакомился с Култышевым я?

Перенесёмся со старинной Сретенки на улицу с цифровито-аббревиатурным названием— 50 лет влксм, что в Чусовом. В доме номер пятнадцать, располагающемся сразу у леса, первый подъезд был исключительно литературным, поелику в нём жил-поживал ваш покорный слуга. А соседний подъезд— магический, иллюзионный. Ибо обитали в нём братья-фокусники Бастраковы, Шура и Валера. Они-то и свели меня с Толиком. Валера (ныне Валерий Иванович, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, отмеченный самим Копперфильдом), тот вообще сидел в школе за одной партой с Култышевым.

Учительница поднимает Толика, чтобы он ответил по заданному материалу, а Толик мнётся, не знает, не выучил. «Садись, два!» И так— до бесконечности. «Чем же ты тогда занимаешься?»— спросил его Бастраков. «Стихи пишу...»

В дальнейшем Анатолий Култышев поражал окружающих не только глубокими познаниями отечественной и мировой литературы, но и личным, не вузовским (впрочем, тогда эти имена ещё в вузах не изучались!), прочтением «неоднозначных» философов— Ницше, Кьеркегора, Сартра...

Сейчас вдруг вспомнилось (когда-то зачерпнувшая этот своенравный култышевский ритм и рифмы память моя, оказывается, хранила их не просто годы, а десятилетия):

Должно быть, стар стал,
стар стал, стар,
но я устал,
мой Жан-Поль Сартр,
от лжештормов, лжебурь—
я к берегу гребу...

Вечный огонь Толика

Поэт Анатолий Култышев жил на правом берегу реки Чусовой, у первого Вечного огня. Почему первого? Потому что в городе был ещё второй, который потом стал первым и единственным. Но сначала (я тому свидетель) открыли Вечный огонь у трёхэтажного дома Толика, затем (в результате бывшего соперничества завода с городом)— у Дворца культуры металлургов. Впоследствии до кого-то, очевидно, дошло, что два Вечных огня в одном Чусовом— это чересчур пламенно, и огонь Толика (так я для себя его окрестил) в одночасье заглохли...

Толика все звали Толиком. Не Толей, не Анатолием, не, извините, Толяном. Впрочем, он сам так представлялся— не важно кому: «Толик». Как бы всё время себя преуменьшал. Он и стихи называл стишками. Дескать, я незначительный и занимаюсь чем-то незначительным. Даже стыдным. Это— с точки зрения обыденного сознания, с которым он— всеми своими «стишками»— вёл на самом-то деле нешуточную борьбу.

Например, в одном из поздних своих, судя по всему, «стишков» «Я вижу всё, не открывая век...», где незначительный предстаёт перед нами спящим гигантом (тут-то и выясняется подлинный масштаб поэта Култышева!), под ресницы и в рот которого пробует вторгнуться флиртующая парочка. Что из этого получилось, узнаете из финала самого стихотворения. Оно по меньшей мере неуютное. Да и не было у Толика по определению уютных, ожидаемых обывателем виршей. Потому что:

Поэт, вызывающий ветер
лишь для того,
чтобы поднять вуаль возлюбленной,
срывает им все двери с петель.

Он творил, на мой взгляд, живописные картины в стихах, где смешивал Тициана с Босхом, реальность с аллегорией. Да вот они: «Речь», «Хоругвь», «Линза», «Тулупчик», «Гармонический мир»... А Култышев и впрямь, кроме поэзии, занимался живописью и даже лепкой. Оцените его «Фигурку мальчика». Что это, если не скульптурная композиция?

Он родился в семье защитника Брестской крепости, угодившего в самом начале войны в немецкий плен. Драматичная антигероизация, словно бы данная будущему поэту ещё до его рождения и, возможно, в чём-то его сформировавшая.

Кстати, не помните, как звали главного героя ранней чусовской повести Виктора Астафьева «Стародуб», очаровавшей меня ещё в десятом классе? Представьте: Култыш. И, знаете, он очень похож на Култышева. Или Култышев — на Култыша. Или так: Култыш — на отца Култышева. Городок-то маленький. И два фронтовика — Астафьев и Игорь Култышев — вполне могли знать друг друга. А цепкий слух Виктора Петровича ухватил нужную фамилию, переросшую в прозвище. Астафьевский Култыш («Единственная вещь, которую я придумал!») поведал мне о «Стародубе» Виктор Петрович, когда в июне 1992-го мы бродили с ним по берегу Енисея в Овсянке) умирает с таёжным цветком в руке. А вот что знал о цветах Анатолий Култышев:

Цветы увяли —
их убили
для радости.

Их берегли,
меняли воду,
но не продлили
их свежести...

В этом месте Астафьев, возможно, хмыкнул бы. «Откуда у хлопца испанская грусть?» Даже не верится, что он из Чусового. Разве может в Чусовом зародиться подобная западноевропейскость?

На сей счёт у Толика есть убедительнейший самопроговор:

Качу на запад на велосипеде —
репей алмазной запонкою светит.
Я — на восток. И — он. На юг — он следом:
горит звездой на шнурке от кеда.

Слышу каламбуриющий голос Виктора Петровича: «Репей... на шнурке от кеда? Тут ясно — откеда: из Чусового!»

Обитали Култышевы в коммуналке на втором этаже трёхэтажного дома у того самого, сначала зажжённого, а потом погашенного Вечного огня. Стихи Толик писал ночами, чтобы никто не мешал. Первоначально это меня поражало, потому что, по мне, поэзия — некая смутная вибрация, наступающая тебя вне зависимости от времени и места. А для Толика («В прилипшей футболке стою у стола!») поэзия была, сдаётся, еженощной самоподстёгивающей работой. Почему еженощной? Потому что если я заглядывал к нему в первой половине дня, он долго не мог прийти в состояние бодрствования. Дружба совы с жаворонком.

Лимит на поэтов

Обычному человеку (даже такому необычному, как Култышев) в те годы в Москве можно было зацепиться разве что по лимиту. Скажем, работая на стройке. В этом смысле у Толика была

беспроигрышная специальность — сварщик. Однажды он пришлёт мне из столицы фотку — с отведённым на затылок шитком, напоминающим поднятое рыцарское забрало.

И действительно, Култышев постоянно что-то (или кого-то) сваривал: бесприютных художников и поэтов, которые почему-то прибывались к его Сретенке, хотя он, по сути, не был громогласно-магнетическим вождём-пассионарием непризнанных. Сваривал и стихотворные формы: в его литературном арсенале могли соседствовать строгий сонет и предписывающий свободу верлибр. Сваривал явь и сновидения. Сиюминутное и вечное. Низкое и высокое. Не спешите зажимать нос и приоткройте дверь в култышевскую «Уборную», «сквозь щели от осколков» которой, как в фантасмагорическом калейдоскопе, будто бы сложилось в быструю картинку прошлое его отца или, напротив, предсказанное поэтом и ставшее нашим настоящим будущее. И попытайтесь если не принять, то хотя бы задуматься над предложенной формулировкой, что такое «истинный героизм» по Култышеву.

Однако специальность сварщика лимитировала лишь койко-место в рабочей общаге. Поэтому, внутренне оставаясь сварщиком, Толик вскоре переквалифицировался в дворники и получил (к тому времени он женился, и у молодёжён родилась дочка) во временное пользование квартиру на первом этаже старого, начала двадцатого века, трёхэтажного каменного строения в Печатниковом переулке. И пусть она фактически обогревалась четырьмя постоянно включёнными, как Вечный огонь, изношенными газовыми конфорками, отчего порой здесь было нечем дышать, зато Култышев дышал в ней единственным — подлинной поэзией. Впрочем, сами стихотворческие муки объяснял весьма своеобразно:

Я начал рифмовать
меня это забавляло
я видел
как слова делают подножки моим мыслям
и выходило совершенно иное
.....
и я нарифмовал
на целое собрание сочинений
стал хорошим поэтом
а быть хорошим поэтом значит
выдавать свои стихотворения
за свои мысли
и никому не говорить о главном...

Одиннадцатого мая 2001 года, когда Толик уже разбежался с женой и съехал со Сретенки в однокомнатную квартиру дальнего Марьино, он подмёл поутру, как обычно, свой участок и поднялся к себе на одиннадцатый этаж. Вскоре его

нашли выпавшим с балкона и замертво лежащим на асфальте...

Предсмертной записки не обнаружили. Говорят, незадолго до этого он просил денег у консьержки, чтобы похмелиться. Некоторые люди у нас исключительно правильные и принципиальные независимо от ситуации. Отказала...

Не откажем же мы, сегодняшние, масштабу дарования одного из своеобразно-изысканных и до самобичевания честнейших поэтов «побитого

втёмную» поколения дворников и сторожей, как не откажем в теплоте и запоздалой любви, которую Анатолий Култышев в очередной своей аллегории сравнил с надетым в жару тулупом. По той же самой причине тулуп был сброшен, но там, в «очереди калек», «струящейся через всё небо в йориковый череп», возвращён его бедолаге-хозяину самым главным гардеробщиком человеческого театра на премьере Страшного суда.